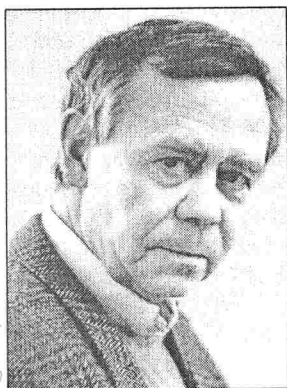




ВАЛЕНТИН РАСПУТИН



ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

О публицистике Александра Солженицына

За последние тридцать лет была сдвинута сама платформа прежней жизни, та общественная система, которая своими громоздкими пороками и несоответствием естественному ходу национальной жизни и составляла у Солженицына главный предмет разговора. Имеются в виду статьи «На возврате дыхания и сознания», «Раскаяние и самоограничение как категории национальной жизни», «Образованщина» и «Жить не по лжи». Эти работы, да если прибавить к ним еще более поздние — «Наши плюралисты» и «Как нам обустроить Россию», — и составляют краеугольные камни, на которых и держится вычерченная автором духовная, нравственная и политическая архитектура России.

Солженицын предвидел и повторение Февраля, и отпадение окраин по южным и западным границам, и что гоголевскую «птицу-тройку» оседлают бесы и не станут делать тайны из того, куда они правят. Солженицын только не ожидал, да и никто не ожидал, что это может произойти так скоро. Но и из сегодняшнего дня смотреть — статьи эти нисколько не устарели и не ослабли: таково перо Солженицына, настолько пронизателен его ум и настолько крепко временное впаяно у него в вечное. Но уплотнение и ускорение событий не только в России, но и во всем мире — их хроническая незавершенность, уклонение общества от своих обязанностей, может статься, и неспособность выполнять их — привели

к тому, что ни одно внутреннее дело, будь то внутренняя свобода, раскаяние и самоограничение, гражданское и совестное управление, или будь то еще более потайные духовные движения, до конца доведено не было и привело в результате к еще более тяжелым последствиям.

Было оно — должно быть, нешироко-го охвата и недолгого времени, но было, что как кодекс чести восприняли мы тогда, в семидесятых, солженицынское «жить не по лжи», как диагноз скудного и лукавого интеллигентского величия прозвучала «образованщина»; статья не о том, но как твердая убежденность в скором выздоровлении понимались сами слова: «на возврате дыхания и сознания». Эти понятия настолько

точно отражали суть явлений и запросов и настолько прочно вошли в нашу жизнь, что по прицельному попаданию сравнить их не с чем. После солженицынской статьи словно глаза открылись у миллионов и названное сразу поднялось во весь свой огромный и рыхлый рост.

Что приходило прежде в широкую жизнь из литературы? В основном, вопросы. Более ста лет задавались мы литературными вопросами: что делать? Кто виноват? Позднее к ним прибавился шукшинский: что с нами происходит?

Наша вопрошающая неудовлетворенность, конечно, не могла успокоить ими совесть, но создавала видимость нетерпеливых поисков. Солженицын дал нам ответы: вот что с нами происходит, вот кто виноват, вот что надо делать. Впечатление было сильным, в правильности диагноза сомневаться не приходилось. Общество, которому отказала воля, но которое «на возврате дыхания и сознания» не представляло себе ни дыхания, ни сознания без самиздата и тамиздата, помнится, даже ошело от сказанного о нем и от предложенных рецептов выздоровления.

Диагноз верный, верней некуда, но болезнь зашла слишком далеко; это и объясняет, почему общество не бросилось тотчас исполнять рекомендации. Согласиться пришлось, даже центровая образованщина, наиболее откоренившаяся от духовного древа России, наиболее страдающая косоглазием, не могла не узнать себя в предъявленном ей образе. Но одно дело согласиться, узнать, отдать дань справедливости, дань почти и виртуальную, потому что никаких жертв это не потребовало, и совсем другое — изменить свою жизнь, отказаться от благополучия и карьеры. Ни мужества, ни характера, ни сил, чтобы лишиться уютного своего существования и выйти в космическую почти выстуженность поступка, у нее не оказалось.

А вскоре события, которые в отличие от интеллигенции не топтались на одном месте, подкинули ей счастливый случай: без всякого жертвенного усилия, без никакого акта мужества оказаться в той самой позиции, которая от нее и требовалась призывом жить не по лжи. Так легко стало говорить правду — сколько угодно, в каких угодно выражениях, с какой угодно яростью — уличную правду. И принять на себя, как вымученные страдания, заслугу ее спасения и окончательного водружения, подобно возвращен-

ному гербу и флагу государства Российского, на законное место. Общественная система пала, а вместе с нею отвалилось все, что ее держало, все запреты снялись — и как было не выказать бурную храбрость и не вскочить верхом на застрявший в подземном переезде безоружный танк. Отвалились завтра, как предсказывал Солженицын, партийная бюрократия — и тотчас будет выхвачена фигура из кармана и наставлена грозно на руины. Так и произошло.

Российская интеллигенция за свою историю прошла несколько этапов. Поскольку образованщиной судьба ее не закончилась, есть смысл хотя бы пунктирно повторить их. Первый этап — во весь XIX век ощущение интеллигенцией себя как ордена, к которому принадлежат люди духа, непримиримого с Россией. Георгий Федотов: «...Это не люди умственного труда», «русская интеллигенция есть группа, движение, традиция, объединенные идейностью своих задач и беспочвенностью своих идей». Солженицын в «Образованщине»: «кружковая искусственная выделенность из общенациональной жизни», «принципиальная напряженная противопоставленность государству», «фанатизм, глухой к голосу жизни». Она, эта горячечная интеллигенция, сделала свое дело, приведя Россию к революции. А затем неминуемо должна была или уйти, или переродиться. Частью ушла в зарубежье, частью попала под жернова нового порядка, большей же частью, подкорректировав сознание, которому пришлось проявить гибкость, «загипнотизированно», как замечает Александр Исаевич, принялась обслуживать новую идеологию. «Огненнокрыльями, — это опять Солженицын, уже свидетель того строения, — показались ей истины торжествующего марксизма, и целых два десятилетия, до Второй мировой войны, несли на те крылья». Да и само слово «интеллигенция» сделалось после революции подозрительным и бранным; восстановленная в своих правах после войны интеллигенция уже не отвечала ни сути своего имени, ни сути своего происхождения и более чем справедливо названа была Солженицыным образованщиной.

Но и образованщина, утопив в своей трясине интеллигенцию, неминуемо должна была исчезнуть вместе с исчезновением выплывшей ее в столь неприглядном облике системы. История, как никогда, торопится переворачивать свои страницы, и соци-

альные, и духовные, и политические. Не с достижением результатов, а с исчерпыванием надежд появляются новые вывески. Канули в вечность понятия «прогресс», затем «цивилизация», сменившись недоношенным «устойчивым развитием». Исчезли «пролетариат», «рабочий класс», «крестьянство», сменившись худосочным «наемным рабочим». Много что исчезло. Так могла ли задержаться образованщина, в которой с самого начала заметны были признаки вырождения? Солженицын предвидел: «Интеллигенция-образованщина как огромный социальный слой закончила свое развитие в теплом болоте и уже не сможет стать воздухоплавательной». Но он предполагал, что на место интеллигенции придет элита. Жертвенная элита, никакой другой тогда представить было нельзя. «Тут слово «элита» не вызовет зависти ничьей, уж очень беззавистливый в нее отбор», — разъяснял он.

Но нет ни одного чистого слова, понятия, явления, на которые не постарались бы посягнуть грязными руками и губами и не обречь их на мученическое истязание. Употребив в «Образованщине» слово «массовизация», Солженицын замечает: «Мерзкое слово, но и процесс не лучше». Слово, более всего подходящее под ярмарку, шабаш и бесстыдство, в подобие которых превратили сейчас элиту, не менее мерзкое... Но и процесс опять-таки не лучше...

По созвучию с образованщиной просится сюда слово «элитарщина».

Всегда элита почиталась возвышенной, качественно безупречной частью общества, находящейся на духовной и культурной высоте. А ее стянули вниз и устроили из нее торжище пороков и безвкусицы. Солженицын видел в элите фильтр, через который возможно протискиваться лучшим и собираться с обратной стороны фильтра в достойный народ. А в элиту, как на помост для шоу, принялись вспрыгивать все кому не лень и объявлять себя (и не понять сразу, то ли потешаясь, то ли заблуждаясь) цвe-том нации.

Примерно за пятнадцать лет это новое образование в форме элитарщины безвозвратно и вероломно извратило все, что было словом, делом и мечтой интеллигенции. Элитарщина окончательно освободилась от служения, освободилась даже от всяких обязанностей перед обществом и государством и добровольно заглушила в себе остатки совести. Образованщина еще могла

мучиться в минуты просветления сознанием своего падения — у элитарщины таких мук не существует вовсе. Она истово и демонстративно празднует победу над вызвавшим ее к жизни прошлым.

Образованщина играла роль общественной прислуги — элитарщина никому, кроме себя, не служит, и высокие понятия, которые хоть и глухо и фальшиво, но изредка звучали еще в образованщине, она публично презрела и высмеяла.

Образованщина справедливо могла считать себя придавленной, стесненной даже в тех немногих дарах, которые выказывала, элитарщина купается в свободах, как в вышедшем из берегов грязном половодье, и пользуется ими только для своего удовольствия.

Образованщина жила с двойным сознанием: для себя и для общества, и с тройной моралью: для себя, для общества и для государства — элитарщина свое сознание сосредоточила только на себе, и ни одной морали, кроме определенных правил поведения в своем избранном кругу, у нее не осталось. Она откровенно стяжательна, заносчива, надменна и открыто проповедует безнравственность и цинизм.

Во времена образованщины, пронизанной ложью, она, ложь, была еще самостоятельна и различима. Можно было сказать: это ложь, жить по ней нельзя. А правда, как бы ни сталкивалась она на обочину, знала себя и с достоинством несла свой образ. Теперь (и элитарщина приняла в этом резвое участие) ложь и правда перемешаны и переплетены так, что разьединить и получить их в чистом виде, кажется, уже и невозможно. Требуется какое-то особое рода выпаривание при больших температурах, чтобы одно опустилось в осадок, а другое всплыло на поверхность. Но ни в том, ни в другом, ни в правде, ни во лжи в отдельности не стало уже и надобности, потому что существующие сегодня дымовые технологии обработки сознания действуют как одуряющие газы, после которых безразлично, где правда и где ложь, было бы дыхание.

Столетиями Россия считалась западным мнением задворками цивилизации. А когда разгородили эти задворки — потянуло изнутри дурным духом не от России самой, а от разложившейся кучи, в которую превратилась интеллигенция, вечным недоумством «этой страной» сгноившая себя в общественный отход. Ни идеи уже в ней,

ни интеллекта, ни достоинства — все за последний век постепенно сошло на нет.

Надо согласиться с Солженицыным: «Без замены интеллигенции Россия, конечно, не обойдется, но не от «понимать, знать», а от чего-то духовного будет образовано это слово. Первое малое меньшинство, которое пойдет продавливаясь через сжимающий фильтр, само и найдет себе новое определение — уже в фильтре или по другую сторону его узнавая себя и друг друга».

Так оно сейчас и происходит. Через фильтр, который, слава Богу, не надо ни маскировать, ни искать для него обтекаемые формы, ибо расположился он в храме — там ему и следует быть. И отверстия в нем, через которые приходится протискиваться в духовное образование и духовное направление, совсем не узки. В том, что не узки, есть и опасность: что доступно, то и нечисто. И как бы не потянули в торговые ряды (а от них теперь нигде нет спасения) вместе с плотью и дух. Но это уже следующий этап нашего стояния и борения среди нескончаемой их череды. И необходимость жертвенности едва ли снимется, да войдет в нее, похоже, тяжелым нравственным страданием упущенная победа: близко, совсем близко было желанное просветление умов и душ, рукой подать, но затолкали друг друга в перебранке, кто достойней и чище, — и опять отделилось.

Теперь о раскаянии и самоограничении.

Мысль о национальном раскаянии с самого начала, мне кажется, была у Солженицына утопичной. Слишком чудесное потребовалось бы потепление нравственного климата, чтобы народы с тысячелетними обидами обнялись и простили друг другу старые и новые прегрешения. О том же мечтал и Достоевский, но из разряда русского прекраснотуши эта мечта так и не вышла. Да и как бы могло свершиться такое братание? Ведь надо навсегда, иначе и приниматься не стоит, а как может быть навсегда, если все межгосударственные договоры о дружбе и сотрудничестве недолговечны и носят политический характер. Чтобы произошло обоюдное межнациональное расширение сердец и душ в любви и доверии друг к другу, акта низового, народного раскаяния, мало, если бы даже удалось устроить этот акт на самых искренних и дружелюбных началах. Если бы даже и нашлось чем закрепить его в условиях разгулявшегося, как стихия, зла, когда политические обя-

зательства не выполняются, нравственные заветы стираются, корысть диктует любое соглашение и почти все «дружеские» контакты. Когда на поверженную страну, как на Ирак, хищнически набрасываются десятки государств, чтобы успеть урвать лакомый кусок. Когда единокровные братья (сербы и хорваты, разделенные только религией) веками не могут расположить друг к другу сердца и в одних государственных границах, и в разных. Сможет ли Югославия простить США 1999 год? Да и весь мир, ненавидящий США за культурную и духовную интервенцию, сможет ли освободиться от этого распаленного чувства неприятия?

Что могло казаться возможным тридцать лет назад, сегодня отодвинулось еще дальше.

Тем более, мне кажется, не следует ворошить нагоревшие от взаимных обид старые пепелища, если лежат они по-могильному тихо, запрятав тлеющие угли. Живущие в мире сознательно их не трогают; мир сам по себе есть осознание вины и ее преодоление. Половина французского народа не согласится, будто революция 1793 года оказалась для Европы несчастьем, так же как половина русского народа не согласится, будто революция 1917 года явилась для мира злом. Но попытки приведения всего народа там и там к общему мнению могут вызвать новые вспышки ожесточения. И так много где. Пример Германии при канцлере Брандте — единственный и особый случай национального раскаяния. Но только за Гитлера, не глубже. Фюреровская эпоха с ее неисчислимыми преступлениями все еще оставалась на поверхности истории, пепел Клааса стучал еще в сердца сотен миллионов, и нравственно-политическое благородство Брандта было и своевременным и целительным. Но и вынужденным. Его, надо подозревать, не случилось бы — не вмешайся всемогущий требовательный холокост, который раскаянием не удовлетворился, сделав Германию еще и данником Израиля.

Согрешающих видим, а о кающихся Бог весть.

А о своем, о русском народе и каяться некому. Жестоковьяная его судьба только за последнее столетие — в революцию, коллективизацию, реформацию, не говоря уж о мировых и гражданских войнах, так и будет по обыкновению молчаливо похоронена вместе с ним. Сталин не каялся за Ленина, Хрущев не каялся за Сталина (только

обличал), Путин не кается за Ельцина. Стал нераскаянный народ по миллиону больше естественной нормы убыли соступать в темную замогильную справедливость. Только плачут в поминные дни колокола на возродившихся храмах и шелестят по иконам шепотки, просящие за души несчастных.

Но личное, тихое покаяние, может быть, и нужней сейчас публичного, которое непременно, по духу времени, будет прихвачено какой-нибудь общественной корыстью. Капля камень точит. А молитвенные капли, соединившись в благодатное течение, когда бы объяло оно земли и земли, способно растопить самые множественные обиды и отчуждения.

Солженицын справедливо связывает воедино раскаяние и самоограничение: не будет одного, не будет и другого. С какой-то последней надеждой, с последним требованием нужно обращаться сейчас к самоограничению — и никто не обращается. Алчность обуяла все материки, нельзя указать ни на одно государство, кроме совсем уж бедных и немощных, которые в своей хозяйственной деятельности обходились бы нормой, достатком, а не выгребали бы с жадностью все, на что хватает аппетита. Да и какие могут быть нормы при грабеже? До чего дотянулись хваткие руки, тому и пропаловка. США с четырехпроцентным населением от населения земного шара заглатывают больше половины всех планетарных изъятий из природы. Могущество восточных «драконов» — Китая, Японии, Индонезии и Малайзии, сделавших прыжок в разряд самых индустриально развитых стран, — достигнуто той же практикой опустошения земли. Каждый небоскреб, где бы он ни возводился, — это тысяче- и миллионкратного увеличения яма под ногами и пустоты вокруг. Этического зова знать меру по-прежнему нигде не слышать. Предостережения Римского клуба тогда, сорок и тридцать лет назад напугавшие человечество, спрятаны и забыты. Киотское соглашение, ограничивающее вредные выбросы в атмосферу, не подписано ни США, ни Россией и, стало быть, обречено на провал. «Устойчивое развитие», сменившее цивилизацию, как бы намекающее на надежность, крепость взятого курса, — название подложное, за ним даже и прятаться не считает нужным непрерывный и беспощадный рост товарного производства.

И что же остается: выгрызем все, тогда

и придем поневоле к самоограничению, затанем пояс, заведем нормы и карточки? Дело знакомое, от чего уходили, к тому и придем? А сможем? Сможем после долгого пира и буйного транжирства, после материального обжорства и обжорства свободами, после безволя и беспутья — сможем после всего этого перейти к практике скромного и бережливого существования, сумеем обходиться малым, найдем в себе силы вспомнить стыд и совесть и принять свободу как самостеснение? Не бросимся отбирать у бедных, которые бедны сегодня по нашей милости, последний кусок хлеба, не пойдем войной против народов, живших здравомысленно и умевших экономить? Презревшие законы жизни сегодня — где возьмут их завтра? Если нравственность сейчас — только слово, звук, превращенный в ругательство, откуда, из какого источника рассчитываем добыть благоразумие?

Похоже, мир человеческий, перегретый пустопорожней и вредной деятельностью, источенный лукавой моралью, дошел до такого состояния, что извержения из преисподней, подобные этому самому миллиону долларов, станут случаться все чаще. Человек так скоро меняется под влиянием внешних перемен (а все внешнее от внутреннего), что даже мы, живущие, не успеваем осознать происходящее. Худшее в мире замечается, разумеется, больше, явственней, на то оно и худшее, чтобы бесцеремонно являть себя как властителя жизни; лучшее всегда в отдалении, его жизнь есть внутреннее и непоказное существование. И обнаруживает оно себя тихо и скромно, теплым прикосновением, напоминающим, что оно живо и по-прежнему с нами.

И еще настоятельней, чем тридцать лет назад, от нас требуется:

- а) жить не по лжи;
- б) содержать себя в нравственной чистоте и правде;
- в) не поддаваться унынию и робости перед сгущающимся злом;
- г) на виду у транжирства, бесстыдства и окаянства обходиться малым в материальных и физических потребностях, а духовные обращать к спасительному лону матери нашей России.

И так хорошо, так свободно на душе, что ничего другого нам и не остается, что время не оставляет нам больше выбора, и суждено нам следовать заветам, не имеющим срока давности.